

## «ВОЙНА – ЭТО СИТУАЦИЯ НЕБЫТИЯ»

Интервью с Михаилом Минаковым

Михаил Минаков – доктор философских наук, один из ведущих политических философов Украины, профессор Киево-Могилянской академии, главный редактор журнала «Идеология и политика», президент Фонда качественной политики (Foundation for Good Politics), политический консультант.

Татьяна Щитцова – профессор философии Европейского гуманитарного университета (Вильнюс), главный редактор журнала «Топос».

### Татьяна Щитцова

*Тема этого номера – «Война и власть», и она продиктована отнюдь не абстрактным интересом. Мы будем говорить не о войне вообще, а о той «необъявленной войне», которая идет в Вашей стране. Учитывая профиль журнала, хотелось бы для начала навести мосты между реальным опытом войны (который, конечно же, может быть очень разным: от жизни в стране, находящейся в ситуации войны, до непосредственного участия в боевых действиях) и философским высказыванием о ней. Как бы Вы определили актуальное (действительное) место философской рефлексии в поле разнородных попыток осмыслить и «переварить» реальность войны? Каковы, на Ваш взгляд, наиболее уместные/востребованные режимы и способы практикования философии в ситуации войны?*

### Михаил Минаков

«Переварить» войну невозможно. Это она – кислотный сок, разьедающий дух, разум, тело, мышление, взаимопонимание, любовь, право и любую творческую практику. Она – конец гражданственности и публичности, невозможность коммуникации и рефлексии, пространство и время, где все аргументы направлены на взаимное уничтожение. В философских терминах война – это ситуация небытия, где нет места ни логосу, ни бытию.

Несмотря на свой запредельный онтологический и коммуникационный статус (а может, и благодаря этому), эпистемологически война плодотворна. Памятуя о различении смысла и значения, введенного еще Г. Фреге, группы, участвующие в войне, избегающие ее, страдающие от нее и наращивающие на ней свою власть-собственность, создают массивы смыслов, прикрывающие простой факт разрыва референциальных связей, альтернативных по отношению к войне. Убийство и умирание приобретают статус желанных моделей поведения. Использование слов, заведомо неверно

описывающих состояние дел, приобретает священный и обязательный характер. Принцип талиона подменяет анализ причинно-следственных связей. Порожденные войной смыслы закрывают горизонт возможностей и сводят их к воспроизводству конфликта и взаимного уничтожения.

И в этих обстоятельствах роль философии может быть критична. Необходимо возвращать словам значение, а поступкам – значимость. Необходимо напоминать о мире и его возможности. Важно возвращать надежду всем, обожженным войной, выйти из этого ада. И важно говорить о прощении.

И все это страшно сложно делать. «Пепел Клааса» стучит в сердца и философов. Искушение ненавидеть еще неодолимы искушений любви. Остаться философом во времени-пространстве филотанатии почти невозможно.

Я вырываюсь (как мне кажется, но это все крайне зыбко) из тайфуна эмоций, разговаривая с ветеранами и жертвами этой войны. Не знаю, помогают ли моим собеседникам наши разговоры – в прифронтовых городках и тыловых сообществах самопомощи. Но благодаря этим беседам я оказываюсь в со-присутствии с травмированным войной дазайном. В попытках передать, коммуницировать запредельный опыт войны и катастрофы рождаются терапевтическое понимание ценности мира и терпимость к иному – у моих собеседников, а также и у меня.

## ТЩ

*Что все-таки значит «оставаться философом»? С одной стороны, из Ваших слов можно было бы предположить, что речь идет о своего рода стоической невозмутимости (способности к эпохе); с другой – задача «возвращать надежду» и «говорить о прощении» указывает на позицию, противоположную апатии. Может быть, опыт войны, как никакой другой, заставляет пересмотреть вопрос о месте эмоций («патоса») в философской работе?*

## ММ

Патос опыта войны, особенно в ситуации, когда это опыт не твой личный, но переданный людьми, вернувшимися с фронта, или сформированный СМИ и лидерами общественного мнения, опасен двумя аспектами. Во-первых, есть чувство вины (вины, что ты не там, не на фронте), которое заставляет многих тыловых жителей начинать свои дискурсивные войны в домах, на улицах, в СМИ и социальных сетях. Анонимный патос войны ведет к преувеличенной «патриотичности», к распространению цензуры и самоцензуры, к формированию коллективной травмы. Я не раз слышал от участников боев, что война научила их быть смелее, резвее, четче в суждениях; для них события войны стали частью их личностного становления, опыта. (Хотя этот опыт и оказывается несовместимым со сложностью мирной жизни. Для многих фронтовиков травма возникает от возвращения в мирную жизнь...) А для людей, удаленных

от фронта, чувство вины за неучастие в боях и общественный милитарный патос формируют невыносимое напряжение, реализующееся в росте взаимной подозрительности и ненависти внутри общества. На место попыток построения гражданского общества пришли попытки формирования общественной ненависти к русскоязычным и русскокультурным гражданам Украины, «генетически» чуждым украинской культуре (по выражению нынешнего министра культуры Нищука). Бывший генпрокурор от радикальных националистов рассказывает, что это «русский язык» убивает и пытается украинский патриотов там, на фронте. Схожие тенденции и во фрагментировании украинского общества по другим признакам (например, религиозным или региональным).

Во-вторых, патос войны подавляет возможности этоса мирной жизни, жизни вообще. Этот патос создает невыносимую ситуацию для гражданственной жизни и качественной политики.

Но в ситуации философа-практика патос крайне важен в соединении с этосом. В своей работе я пытаюсь прилагать усилия для понимания тех, с кем я разделяю судьбу. В этих усилиях я пытаюсь идти путем одновременного удержания и эмоциональной открытости и ориентации на неизменно-невозмутимое принципиальное.

Практикование эпохе не должно быть необратимым, не должно лишать философа возможности понимать существующее. В мышлении и философских практиках прошлого примеры возвращения есть и в виде благодати возвращения Будды из нирваны, и в «повороте» (Kehre) у Гегеля, когда диалектик, выходя в трансцендентальную позицию, возвращается в поток сущего.

## ТЩ

*Мне не раз приходилось сталкиваться с высказываниями украинских интеллектуалов о том, что после начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях граница воображаемого раскола между Западной и Восточной Украиной переместилась в зону АТО. Можно ли говорить в этой связи о том, что война в Украине имеет совершенно определенный положительный эффект, а именно – национальную интеграцию? Если так, то как Вы оцениваете перспективы конструктивного использования состоявшейся гражданской консолидации, имея в виду нынешнюю политическую конъюнктуру в стране?*

## ММ

Консолидация войной – кратковременное и глубоко травматичное состояние большого коллектива людей. Гнев, обида и испуг лишь поначалу объединяют. А далее становится все более заметным желание спрятаться, изолироваться от пугающего мира с его агрессорами, предателями и филистерами. Война со второго года фрагментирует и атомизирует, разрушает наш и без того небольшой социальный капитал.

На расколотом обществе все более эффективно паразитируют финансово-политические группы, втягивая в свои патрон-клиентские сети растерянных, дезориентированных и жаждущих безопасности людей. Тут все меньше воздуха для гражданственности и все больше вакуума для подданничества. Все больше возможностей для республики кланов, все меньше места для общего дела свободных граждан.

Пересобираемое ныне украинское общество все меньше ценит личную свободу. Все больше речи о генотипе нации, одноязычии и одноцерковии. Так и не создав системы юридической и социальной справедливости, Украина начинает мыслить в терминах исторической справедливости, справедливости для мертвых. Расовые теории и идея «христианской государственности» овладевают умами властных элит.

Консолидация, которую я вижу в Украине сейчас, не гражданская. Это подчинение усталых людей, желающих выжить и ждущих нового момента для бунта и мести.

### ТЩ

*В некоторых своих работах/выступлениях Вы интерпретируете трансформационные процессы в постсоветских странах в терминах демодернизации. Вы могли бы кратко очертить, каким образом текущая война вписывается в эту логику? И можно ли, оставаясь в рамках концепции демодернизации, спроектировать возможные сценарии/механизмы окончательного прекращения войны?*

### ММ

Да, по моему мнению, демодернизация – один из магистральных культурных трендов в развитии современной Восточной Европы. Если до 2014 года можно было говорить лишь о некоторых формах политического и экономического иррационализма, ведущего к странным немногочисленным ретромодерным или антимодерным феноменам в политике и общественной жизни, то теперь можно говорить о системных сдвигах в обратную сторону, к верховенству иррационального коллективизма.

Демодернизация на Востоке Европы связана с особой ситуацией «двойной колонизации». Описывая трансформации публичности на Западе, Юрген Хабермас указывает на «колонизацию жизненного мира», в ходе которого Система (сумма сверхсложных дегуманизированных автономных современных институтов) деструктивно вмешивается в смыслопорождающие дела жизненного мира. Это вмешательство приводит к потере человеком «корней» в бытии, уплощению и отчужденности человеческой жизни.

Однако на Востоке Европы, в рамках Советского Союза и его сателлитов, модерность XX века развивалась иначе. В наших культурах происходила взаимная колонизация, где публичные институты Системы успешно уничтожали и дегуманизировали традици-

онные уклады жизненного мира. Однако и традиции не оставались в накладе. Структуры жизненного мира проникали в институты Системы и самым странным образом гуманизировали ее, продвигая «блат», «кумовство», «землячество» и прочие типы персоналистических отношений. Фактически дифференциация публичного и частного состоялась, но при этом во взаимной колонизации они подрывали жизненную ценность друг друга.

Постсоветский период начинался с попытки исправить советскую публично-правовую недостаточность. Однако эти попытки быстро были свернуты. Нищета и войны продвигали ценности выживания и практики самоархаизации.

Вторая «путинская революция» в России стала примером (далеко не уникальным) системного сдвига в трансформации постсоветских модерностей. Если в начале правления Владимира Путина «общественный договор» был вполне рациональным – в обмен на политические права гражданам гарантировались доход и безопасность, – то в 2012 году «договор» потерял рациональную аргументацию. Теперь обмен производится в пользу «традиции», «исторической справедливости» и коллективного величия, а доход и права живущих оказываются третьестепенными.

Демодернизация – тенденция транснациональная. Она происходит и в Западной Евразии, и в Восточной Европе, и в Центральной Европе. Этнонационализм, архаизация, изоляционизм, клерикализм и партикуляризм заполняют умы и сердца людей. А нынешние восточноевропейские войны лишь усиливают демодернизирующий эффект в нашем регионе.

## ТЩ

*Какова в этом контексте специфика информационной войны, сопровождающей военный конфликт на востоке Украины? Как бы Вы оценили ее деструктивный эффект для украинского общества и нашего региона в целом? И какие социальные и антропологические факторы являются, на Ваш взгляд, наиболее значимыми для формирования резистентности по отношению к российской пропаганде?*

## ММ

Начиная с 1992 года в Восточной Европе нарастал дефицит горизонтальной коммуникации между восточноевропейскими народами. Постепенно общие газеты и телеканалы исчезли, а общества сфокусировались на своей проблематике. Как свидетельствуют соцопросы последних лет, более 70% украинского населения не покидали пределы своей области, а пределы страны – и того меньше. Непосредственным знанием соседних обществ украинцы, беларусы и молдоване обладали, если они принадлежат либо к элитам, либо к рабочим мигрантам. Средние и немигрирующие бедные классы наших стран знали друг друга по советскому культурному на-

следию. В начале 2010-х я не раз удивлялся незнанию друг друга украинцами, россиянами, беларусами и молдованами.

Дефицит общения отчасти восполняли российские телеканалы довоенной поры. Легкий неоимперский флер российского телепродукта раздражал многих в Восточной Европе, но ни одно из постсоветских обществ не смогло создать условий для конкуренции с этим продуктом. Обычно местные рынки пытались создать противовес российскому телепродукту при помощи западных программ и фильмов.

С началом Донбасской войны российские телесети оказались крайне сильным инструментом для манипулятивных практик и распространения «кремлевской пропаганды». На Западе, в постсоветском пространстве и в России эти манипуляции имели разный характер и результат.

Западные СМИ быстро нарастили свое присутствие в Украине, что позволило сбалансированно и полно информировать западные общества о происходящем в моей стране. Однако Russia Today, Sputnik.tv и тому подобные СМИ успешно продвигали сначала послание о «нацистском путче» в Киеве, а позже, когда западные сети сделали невозможным негативное описание Евромайдана и военных событий, российские каналы стали сеять сомнения в западных критериях для оценки событий на Востоке. Я согласен с Иваном Крастевым<sup>1</sup>, который указывает на то, что нынешний продукт «кремлевской пропаганды» для западных аудиторий – сомнение в однозначности оценок Донбасской войны, международного права и сепаратизма.

Для Украины, Беларуси, Молдовы и других постсоветских стран российская пропаганда готовила материал гораздо более грубый. СМИ этих стран попросту были не способны предоставлять качественную сбалансированную информацию своим аудиториям. В Украине информационная составляющая войны привела к тому, что украинские СМИ – за редким исключением – стали следовать худшим практикам российских массмедиа. «Кремлевской пропаганде» противопоставлена «укропская пропаганда» с заведомо неправдивой риторикой, активно используемой несколькими финансово-политическими группами для упрочения своих позиций во власти и экономике страны.

Эти худшие практики заметно изменили и наше общество, и наши элиты. Когда «Громадське ТВ» или некоторые другие каналы предлагают альтернативные точки зрения на происходящее в «зоне АТО» или на «Печерских холмах» (район Киева, где находятся офис президента, Кабмин и парламент), то это ведет к обвинениям профессиональных журналистов в сотрудничестве с Кремлем. Недавно ряд финансово-политических групп запустил кампанию против политической оппозиций и критикующих журналистов, названную

---

<sup>1</sup> Иван Крастев – болгарский политический аналитик, председатель Центра либеральных стратегий в Софии, постоянный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене. (Прим.ред.)



«Штагун». Согласно официальной версии, поддержанной правительством и спецслужбами, Кремль пытается «расшатать ситуацию изнутри» при помощи «внутреннего врага» и «пятой колонны».

Кроме того, в Украине возник ряд своего рода терапевтических проектов по противодействию «кремлевской пропаганде». Примером служит проект «стопфейк», где волонтеры-медиааналитики развенчивают ложные материалы российских СМИ. Увы, эти проекты не используются для противодействия собственной пропаганде.

По моему мнению, худшим результатом влияния «кремлевской пропаганды» является именно эта тенденция нескритичности к собственным пропагандистским кампаниям. Этой нескритичностью тут же воспользовались правящие группы, запустившие процесс новой монополизации идеологической сферы Украины. На данный момент это «декоммунизация», практика установления единственно правильной трактовки событий настоящего и прошлого.

### ТЩ

*Какие философские концепции/понятия представляются Вам наиболее эвристичными и продуктивными для осмысления войны в Украине?*

### ММ

Я считаю, что арендтовская концепция революции и теория демодернизации являются базовыми для понимания происходящего и даже дают некоторый потенциал для противодействия культурной энтропии в Восточной Европе.

Если выше я уже пояснил демодернизацию, то максималистская концепция революции Ханны Арендт требует пояснения. Арендт предложила различать историцистский (континентальный) и либеральный (американский) способы понимания-практикования революций. Для историцистов революция – момент радикального изменения. Это изменение происходит благодаря людям, мотивированным желанием определенных прав и свобод. Однако цели участников всегда переносятся в будущее, поскольку революционное изменение требует еще больших жертв от ее участников и тех, кого они контролируют. Все участвующие в революциях со времен Великой французской революции были своего рода жертвами своих историцистских верований, ограничивающих их творческий потенциал.

В то же время революция может (и должна) рассматриваться как пространство-время для учреждения нового участниками революции. Это новое – результат политического творчества людей, переживающих революционный момент. По моему мнению, каждое революционное событие имеет возможности для обоих вариантов. В нашем случае революционные альтернативы присутствовали на Майдане вплоть до уличных боев. Однако сторонники понимания-практикования «национальной революции» победили дис-

курсивно в момент массового расстрела. И эта победа повлекла за собой лингвокультурный и региональный раскол и предоставила Кремлю возможность аннексировать Крым. Победа историцизма предопределила противоречия наших реформ и стала сильным импульсом для демодернизации Украины и погружения в войну.

Эта война оказалась крайне важным источником легитимизации всех участвующих в ней режимов. Маленькая победоносная война питает популярность Путина. Маленькая неудачная война нужна постмайданным элитам для удерживания власти. Война необходима для существования властей сепаратистских политий.

Такая военная политика оказывается чем-то обратным для коллективного выживания и для общения ради общего блага. И она уходит корнями во вторую «путинскую революцию» и последствия Евромайдана.